

Встречи... Можно ли назвать это встречами? Как назвать это встречами — то далёкое? Да, я была знакома с семьёй Есенина. Да, судьба связала меня с этой фамилией близко, но по малолетству я не оценила этого момента и надолго забыла...

Нужно было прожить ещё полжизни, отпущенной мне, чтобы память детская проснулась, дала толчок, заставила осознать, и не только осознать, а начать поиски сведений, связанных с Сергеем Есениным — с тем дядей Серёжей, о котором постоянно твердила мне Светлана Ильина (моя ровесница) — дочь Александры Есениной, младшей сестры поэта.

Да! Я держала в руках его рукописи (в раннем возрасте) — и что?!

Но моё осознание этого события, тем более значение его поэзии, пришло через тридцать лет (всего-то!). Когда я была уже далеко от Москвы, от Хорошёвского шоссе и от моей малой родины, от того двора, где последние годы свои жила мама Есенина, Татьяна Фёдоровна.

После войны страна оправлялась от разрухи и голода. И о поэте ничего не сообщалось, не писалось, не озвучивалось и запрещалось. А родные Есенина, подавленные замалчиванием его поэзии, тоже не распространялись.

Шёл 1947 год. Наша семья переселилась с Малой Бронной (где жили мы до этого, в общежитии Академии наук) на Хорошёвское шоссе, где было построено пять деревянных двухэтажных домов (позднее оштукатуренных).

Въехали мы одними из первых в этот отгороженный высоким забором двор.

Изучая территорию двора, мы с братиком Лёней (ему было девять лет, мне — десять) сразу увидели светловолосую девочку, наблюдающую за нами со второго этажа соседнего дома. Подбежали к ней: «Ты кто?» — «Я Света!» — «Ой, и я тоже Света!» Рассмеялись, она спустилась к нам, и мы продолжили обследование нашего двора.

Света эта оказалась дочерью Александры Есениной — племянницей знаменитого поэта! Но мы тогда и не знали знаменитостей каких-то, и не реагировали на фамилии.

Почти у всех заселившихся в этот двор, были дети. И хотя прибывали все из разных краёв и областей, все мы быстро перезнакомились и перенимали друг у друга разные неизвестные нам ранее игры: играли в лапту, в казаки-разбойники и в капитаны. Несколько лет забор наш стоял. Его не сносили, и мы жили как бы в своём обособленном мире...

А жильцы были разные: получили жильё здесь и рабочие, и писатели, и художники, артисты, врачи. (И вообще много талантов было. Кстати, позже меня это удивило очень. Как случилось, что соединились здесь люди столь разные, интеллигентные и талантливые?) Шептались: якобы по указанию Сталина. Не знаю... но чем объяснить, что на окраине Москвы (а кладбища всегда сооружались в стороне, для покоя усопших) благополучно стали жить способные к творчеству люди?

А мой отец попал в эту компанию, вероятно, потому, что был историком и только что защитил диссертацию. Мы со Светой на правах «старожилов» бойко объясняли детям, заселяющимся в соседние дома, что где находится.

С ней, со Светланой, попали в один класс, 4-й «А» в женскую школу, была она рядышком. Постепенно узнала её маму тётку Шуру и бабушку Татьяну Фёдоровну. Звала я её «баба Таня». У Светы были ещё сводная сестра Татьяна и брат (его, кажется, Шурой звали). Александра Есенина вышла замуж за Петра Ильина, и фамилия её стала Ильина-Есенина. (Это всё, конечно, узнала я намного позже.) Сводная сестра и брат были постарше нас, и мы со Светой общались обособленно от них (скорее, они от нас, считая нас малолетками). А бабушки наши, моя и её, познакомившись, сошлись быстро, наверное, потому, что обе были верующие. Глафира Дементьевна Матюгина из Ивановской области — моя бабушка, а Татьяна Фёдоровна из Рязанской области — Светина бабушка. Видимо, вера в Бога объединила их. Обе очень хотели посетить действующую Ваганьковскую церковь. Оказалось, это недалеко: Ваганьковское кладбище находилось всего лишь через железнодорожный узел, разделяющий Хорошёвское шоссе и кладбище. Автобус маленький (человек десять-пятнадцать) объезжал этот круг и минут через двадцать — двадцать пять подвозил к рынку «Ваганьковскому», и тут же кладбище Ваганьковское рядышком. Иногда мы пересекали пешком

эти железнодорожные рельсы (но это было уже позже, когда повзрослели). А пока, поскольку родители работали, мы со Светкой оставались на попечении бабушек. Потому и брали они нас с собой постоянно. Пока молились они в церкви, мы, ожидая их, бегали между оградок. Дождавшись, шли вместе к могиле сына бабы Тани. И мы снова пробегали между захоронениями. Нам было интересно разыскивать что-то необычное в этих погребениях. А интересное здесь было что! Сохранилось много старинных крестов, причудливые изваяния в чугуне, из камня высеченные мускулистые мужские фигуры, ангелы из белого мрамора! Набредали даже на чуть сохранившиеся семейные склепы, а потом ещё и современные советские захоронения с пропеллерами и отчеканенными из металла звёздами. Несколько раз успевали прибежать на выстрелы салютные, где однополчане отдавали почести своим товарищам. Было много раз это! И, конечно, тропинки многие нам со Светкой были знакомы. Благодаря нашим бабушкам: пока в то время вспоминали они своё прошлое, молились и не торопили нас, мы чувствовали себя непринуждённо...

А когда мы со Светланой совсем освоились, как добираться до кладбища, нас посылали туда одних, чтобы купить свечи или передать поминальные какие-то листы бабушке. Как-то баба Таня велела мне сесть рядом и сказала: «Пиши!» (Светка чем-то была занята.) Передо мной лежали два тетрадных листа. Продиктовала: «За упокой, пиши крупно», — и далее услышала: «За упокой убиенного Сергея», — и ещё продиктовала несколько каких-то, пять или шесть, имён. От слова «убиенного» я не вздрогнула и не испугалась. Я тогда сама себе объяснила мысленно: раз «за упокой», значит, умер, а если умер, значит, убиенный. Особо долго не задумывалась. Потом послушно на другом листе написала «За здравие!» — и тут услышала знакомые имена: и Пётр был, и Александра, и ещё кто-то, но главное — и Светлана, что тоже сразу стало ясно: значит, все живые. Баба Таня ничего мне не объяснила, только велела передать Светке и приказала, чтобы мы срочно везли туда, куда надо, то есть в церковь. Мы со Светкой воспринимали наши поездки легко и весело...

Только удивляла меня Светлана... Когда мы ехали в автобусе с бабушками, Света стояла со мной рядом молча, ожидая остановки. Но стоило нам поехать вдвоём с ней, без них, без наших бабушек, — Светочка преображалась.

Как только мы вскакивали в автобус (это надо было видеть!), Светка во весь голос произносила: «А мой дядя — Сергей

Есенин!» Ей хотелось, видимо, сообщить всему миру самое главное. В первый раз я с удивлением посмотрела на неё, но это повторялось каждый раз в автобусе. И я привыкла к её выступлениям и просто проходила мимо к выходу. А она, довольная произведённым эффектом (все сразу оборачивались и явно заинтересованным взглядом молча провожали её),— а она, Светочка Ильина, чувствовала себя (я это видела) то ли героиней, то ли актрисой. Ей очень нравилось, как пассажиры реагировали на её слова. Ну а мне фамилия Есенин ни о чём не говорила. Просто неудобно было от взглядов... Я этого стеснялась и спешила пройти подальше.

А в первый раз «зацепила» меня фамилия Есенин... именно зацепила, когда я услышала разговор моего отца с матерью — с моей бабушкой. Они тихо беседовали у нас дома, и он несколько раз повторил: «Есенин», — спрашивая что-то про Татьяну Фёдоровну. Суть разговора я не поняла, но уловила, что отец был взволнован очень. Хотя до этого я не замечала ни разу такого его возбуждённого состояния. Видимо, бабушка моя рассказала что-то важное из жизни бабы Тани или тёти Шуры и их семьи...

Кажется, именно тогда я начала донимать Светлану вопросами о её дядьке. А это было ей в радость... Потому что до этого не понимала она моего равнодушия к её хвастливым (так мне казалось тогда) излияниям. Конечно, я бывала частенько у них дома. Но при нас её родители никогда не говорили о своём родственнике. После моих вопросов (неожиданных для Светланы) привела меня она домой однажды, когда дома никого из её домашних не было. Ни старшего брата, ни Татьяны, ни тёти Шуры, и бабушки наши с утра уехали на Ваганьково.

Вот когда я удивилась! Это точно! Удивилась! Причём впервые... Подвела она меня к кованому сундуку (мне он показался очень огромным). Его, наверное, привезли уже давно из деревни бабы Тани. Светлана открыла тяжеленную крышку, и я увидела, что он полностью заполнен связками каких-то листов. Светка сказала: «Это рукописи». Многие листы были крепко связаны и уложены отдельно друг от друга... Но Светлана, видимо, не раз видела сундук раскрытым, потому что нашла ментально то, что хотела мне показать. Вытащила из середины вороха несколько листов и подала мне. Я начала читать (почерк показался не очень разборчивым), но подружка разъяснила мне содержание. И мне стало стыдно и смешно... мы обе потом расхохотались. Оказывается, она выбрала «складно» сложенные «матершинные» стихи. Вот что могло заинтересовать глухих

девчонок в таком малолетстве! Она выбрала ещё что-то про воровышек, а потом про любовь. Успели прочитать:

В пятнадцать лет
Влюбил я до печёнок
И сладко думал,
Лишь уединюсь,
Что я на этой
Лучшей из девчонок
Достигнув возраста, женюсь!

Но тут мы услышали шаги... и успели сбежать из той комнаты, где стоял сундук бабы Тани.

Такие «вояжи» мы со Светкой тайно совершали не раз, и частенько, пока дома оставалась она одна.

Нас много связывало с ней в те годы. В первую очередь — восприятие мира: мы одинаково реагировали на то, что было вокруг нас. Она рассказывала мне о константиновских девочках (побывав вместе с мамой там, где её мама родилась): какие поют там частушки, какой говор у них. Рассказала как-то трагическую историю двух влюблённых, которым родители запретили венчаться... И её дядя Серёжа якобы сочинил слова, а потом и мотив (он же играл на тальянке, маленькая гармошка такая, объяснила мне Светлана). Она так жалобно рассказывала об этом... доходило у нас до слёз. Некоторые слова этой песни помню до сих пор:

Когда садились мы на лавку,
Я косу русую плела
И тихо на ухо шептала:
«Зарежь, нарежь, милый, меня...»
.....
Ему зарезать было жалко,
И он зарезал сам себя.
.....
Родные «трауры» стояли,
А он лежал и крепко спал...

Не знаю, достоверно ли это, но подружка утверждала: сочинил слова её дядя. Но в том же сундуке прочли рукой его написанное: это были детские стихи, полные печали об усопших подружках.

Позже, намного позже прочла, что Есенин чаще думал о смерти. «И только памятуя о ней, остро чувствуешь жизнь», — говорил он. И в раннем детстве писал:

Наступила погода осенняя,
Бесконечные льются дожди.
Крепким сном спит в могиле подруга,
Сохраня в своём сердце любовь.
(1912)

А первая история, изложенная в песне, поразила меня настолько (была, видимо, я очень впечатлительная), что когда впервые мы вчетвером, обе бабы и мы со Светой, пришли на могилу сына бабы Тани, я не очень опечалилась, увидев огромный деревянный крест у дяди Светиноного: «Ну и что ж, что крест большой?» Бабушки присели и вполголоса о чём-то говорили. А Светка, уловив, наверное, мою пассивность, молча подвела меня к скромной могилке, расположенной чуть дальше. Увидела я крестик без фотографии, прочла: «Галина Бениславская». «И кто это?» — спросила. «Она застрелилась здесь». — «Как? Почему?» — «Любила она его очень, дядю Серёжу, молодая была... очень-очень любила, — повторила Света. — В его день смерти, через год, застрелилась».

Одно слово «застрелилась» слилось будто с той песней, какой научила меня Света...

Две эти души любящие в моём воображении вылились для меня в огромное горе. И я думала только о них.

А сзади возвышался большой деревянный крест с фотографией красивого кудрявого юноши. Но я смотрела не на него, а на скромный крестик, неизвестно кем поставленный. И жалко мне было её, эту Галю Бениславскую, а не дядю Серёжу... И это было моё первое детское восприятие трагической любви. Уже не в песне, а наяву, в жизни.

Через годы я, конечно, искала подтверждение встречи Галины с поэтом и их взаимоотношений. Много позже узнала: она любила его самозабвенно, но он, он пользовался её добротой и преданностью. И в открытую говорил ей: «Милая Галя! Вы мне близки как друг, но я вас нисколько не люблю как женщину».

А она терпела, переносила его холодность, занималась изданием его книг, лечила после попок, прощала и ждала...

А дальше... Что было дальше?

Дальше было моё первое горе: в Боткинской больнице скончалась моя бабушка Глафира Дементьевна Матюгина. Мне исполнилось тринадцать лет. И если раньше я ездила на кладбище за компанию с подружкой и с обеими бабушками, не вникая в то, что не место это для прогулок и веселья и просто

так, бездумно, там быть не подобает, то теперь пришло время ощутить истинную трагичность потери.

Отпевали её в церкви, в той, где отбивала она поклоны перед иконами святых. А я держалась ручкой за её гроб, и первая мысль была: «Нету Тебя, Боженька, раз отнял Ты у меня мою бабушку». Она ведь крестить меня тайно собиралась, но батюшка отказал, когда призналась она, что отец мой против. И всё равно учила меня, как пальчики складывать, какие слова говорить. И я верила её словам. Но с того дня я не стала «верующей», потому что впервые почувствовала потерю её. Во мне с той поры что-то изменилось, нет того, что было, нету.

А в церкви сразу семь или восемь усопших, то есть рядом стояли все гробы, и батюшка что-то по-церковному нараспев произносил. Где-то на высоте церкви пели какие-то голоса. А отец так и не вошёл в церковь. Стоял на пороге церкви и говорил: «Не положено мне». Татьяны Фёдоровны не было. Она болела... так что расстались обе бабушки. И пристрастилась я с тех пор почти каждый день после школы ездить на могилку. Сберегая копейки, какие давали родители на завтрак в школе, покупала маленькие еловые веночки на Ваганьковском рынке и шла к ней. Свету с собой уже не звала. Мне тогда хотелось побыть наедине почему-то с моей бабой Глафирой. На могилу Есенина без Светки я уже больше не ходила, а Татьяна Фёдоровна тоже уже не могла выходить одна из дома и бывала там редко.

Между тем в стране что-то менялось. Менялось что-то и в литературном мире. Начали появляться в печати стихи Есенина, а потом и статьи о нём и о его удивительном таланте. (Правда, достать книги его было сложно.) Если раньше Есенина запрещали или просто замалчивали, считая, что подрастающему молодому коммунистическому поколению «упадочная» и «кабацкая» поэзия вредит, то в пятидесятые годы его имя звучало всё чаще и чаще.

Через годы Есенин вернулся к нам. Так оправдалось его предвидение, сказанное в 1924 году:

Лицом к лицу лица не увидать.

Большое видится на расстоянии.

Это было сказано им в связи с глобальными событиями, происходящими в России. Есенин вернулся к нам именно, наверное, потому, что поняли его с расстояния... Благодаря великому заступничеству народа он вернулся... и теперь его тиражи огромны, и как-то не становится никто от этого «упадочным».

Ведь в стихах притворяться честным нельзя, глупцу нельзя притвориться мудрым, а бездарному — талантливым.

А в нашем дворике (обособленном) заметны стали посещения незнакомых людей (мы определяли их по элегантным костюмам). Наши во дворе таких не носили. А Света мне разъясняла, кто есть кто, — если сама знала. Приезжали поэты, писатели, художники. Я даже сама видела А. Фадеева. А через несколько дней он застрелился. Это я узнала от Светы. Начали фотографировать их квартиру, причём из окна. Привозили какую-то высокую вышку, и через окно второго этажа велась съёмка. Был и художник какой-то известный, и не раз... Он писал (я думала, рисовал) бабушку Светину с натуры (я и слова-то такого не знала тогда, что такое «натура»). Сажал в «кресло» (хотя кресла у них не было) в угол комнаты. Обстановка была у них, как и у всех нас, скромная, и потому (так мне было сказано по секрету) всё, что было более-менее приличным, составляли в тот угол и сажали в центр бабу Таню (то бишь Татьяну Фёдоровну). Видимо, надо было показать всей стране, что мать знаменитого поэта живёт в достатке.

И действительно, как только стали издаваться стихи Есенина, начали поступать гонорары от издания произведений его. Семья зажила достаточно благополучно. В квартире появились посуда красивая, картины, часы настенные (друзья дарили, наверное).

А на Ваганьковском деревянный крест убрали. Появился чёрный мраморный обелиск с белоснежным (круглым) барельефом головы Есенина. Могила стала выглядеть достойно.

Продолжение следует